

мацию человечности», которая выразилась «в патологическом бешенстве», где люди смотрели на свои «зверские поступки» как на «благодетение» (*Фирсов Н.* 1812 год в социолого-психологическом освещении (общая характеристика). М., 1913). С. В. Бахрушин в том же году подчеркнул склонность к насилию и разбойничьей жадности у московской черни 1812 года (*Бахрушин С. В.* Москва в 1812 году // *ЧОИДР.* 1912, IV. С. 19–56).

В. Н. Земцов

СМЕРТЬ ВЕРЕЩАГИНА: ЗАПАДНИК, ПАТРИОТ И ВЛАСТЬ

Около 10 часов утра 2 сентября* 1812 г., в день вступления войск Наполеона в Москву, возле дворца московского главнокомандующего Ф. В. Ростопчина на Лубянке разыгралась кровавая трагедия. Ростопчин бросил на растерзание толпе московского простонародья обвиненного в измене Отечеству купеческого сына Михаила Верещагина.

Событие это вызывало интерес многих историков, писателей и общественных деятелей. О нем говорили уже тогда, в 1812 г.¹, позже писали историки XIX в. Н. Ф. Дубровин, П. В. Шереметевский, А. Н. Попов и др.² Сцену расправы над Верещагиным описал великий русский писатель Л. Н. Толстой в романе «Война и мир». В начале XX в. к теме смерти Верещагина обращались либеральные историки С. П. Мельгунов и А. А. Кизеветтер³, художники А. Д. Кившенко и К. В. Лебедев... Правда, в советское время это событие обычно удостоивалось только скромного упоминания, возможно в силу того что смерть какого-то купеческого сына, да еще и «не патриота» (!), не могла идти в сравнение с теми жертвами, которые понес народ, охваченный пламенным патриотизмом в борьбе с иностранными захватчиками.

Однако к концу XX и началу XXI вв. о смерти Верещагина заговорили вновь. На этот раз инициатива исходила от кругов «охранительно-патриотических». О. Н. Любченко и М. В. Горностаев⁴, обратившиеся к личности и деятельности Ростопчина, жизнь которого являлась, по их мнению, великим примером мудрости и гражданского служения Отечеству, не только пытаются снять со своего кумира обвинения историков-либералов в преступлении, но и придать этому событию даже некий героический ореол. Мы не собираемся никого обвинять или оправдывать. Наша задача нам видится в другом, а именно в попытке реконструировать «частный» эпизод из истории Отечественной войны 1812 года, который, как нам представляется, отразил неизбежную дилемму российской жизни: метание между «патриотизмом» и «западничеством».

* Все даты в статье даны по старому стилю.

18 июня 1812 г., во вторник, в восьмом часу вечера из кофейни, что находилась недалеко от Гостиного двора, вышли трое молодых людей: 22-летний купеческий сын Михайло Верещагин, 32-летний отставной чиновник Петр Мешков и некто Андрей Власов, Можайский мещанин, не сыгравший в последующей истории какой-либо заметной роли.

Верещагин и Мешков только что обсуждали в кофейне, бывшей своего рода общественным клубом для тех москвичей, которые считали себя людьми просвещенными и свободно мыслящими, интригующую бумагу – письмо Наполеона к прусскому королю и речь, произнесенную им же перед князьями Рейнского союза в Дрездене. В этих документах Наполеон возвещал о походе на Россию и заявлял, что не пройдет и шести месяцев, как две северные столицы будут у его ног⁵. Это был, по словам Верещагина, перевод, сделанный им из какой-то гамбургской газеты, которую он читал в почтамте благодаря сыну московского почт-директора.

Вполне понятно, что все это было сделано под большим секретом, так как газеты, приходявшие ранее из Европы, теперь были большой редкостью. Любые известия, касавшиеся планов Наполеона, который только что, 11 июня, перешел русскую границу, должны были проходить через сито цензуры. Действительно, Верещагин, пришедший в тот день в кофейню, не нашел там, как было раньше, свежих иностранных газет, ни на немецком, ни на французском (эти языки он хорошо знал), ни, тем более, на английском (который знал значительно хуже, но на котором также мог читать) языках. Тогда Верещагин велел подать себе трубку табаку и начал разговор со своим знакомым Петром Мешковым. Желая удивить старшего приятеля осведомленностью, Михаил отвел его в соседнюю комнату, где никого не было, достал из внутреннего кармана фрака листок бумаги и с него прочел сделанный им в понедельник перевод с одной из гамбургских газет.

Мешков был заинтригован и сразу стал просить этот текст дать ему списать. Но Верещагин, справедливо полагая такой оборот дела опасным, вспомнив к тому же о предостережениях отца и мачехи, уже знакомых с этой бумагой, категорически отказался это сделать. Для приличия он отговорился тем, что в кофейном доме не место для списывания. Однако Мешков не отставал. Ему страшно хотелось самому стать обладателем сей заветной бумаги, которая могла придать ему вес в глазах друзей и знакомых. Мешков спросил Верещагина, куда тот собирается идти из кофейни и, узнав, что Михаил должен идти на Кузнецкий мост, к пивным лавочкам, которые содержит отец, дабы выполнить какое-то поручение, предложил идти вместе. Квартира Мешкова была по дороге – у пересечения Кузнецкого моста и Петровки. Пригласив с собой общего знакомого – Андрея Власова, которого, впрочем, они не посвятили в суть только что состоявшегося разговора, молодые люди вышли из кофейни⁶.

Трое приятелей миновали оживленные улицы возле Гостиного двора, прошли рядом с Казанским собором, вышли через Воскресенские ворота на Неглименный мост и, разговаривая, направились к улице Петровке. Неожиданно небо заволокла огромная грозовая туча, и Мешков пригласил попутчиков зайти к нему на квартиру, которую он снимал уже чуть более года в доме губернского секретаря Саввы Васильевича Смирнова. Петр Алексеевич, приняв на себя роль радушного хозяина, стал угощать дорогих гостей. Угощал сперва пивом, затем молодые люди перешли к чаю и, наконец, закончили возлияния пуншем.

Верещагин раздобыл и наконец, после очередной просьбы Мешкова, вытащил из кармана ту самую бумагу. Мешков здесь же бросился ее списывать. Совсем захмелевший Верещагин помогал ему разбирать не очень ясно написанные фразы. На вопрос Мешкова о том, откуда Верещагин получил эту «речь», последний, как и ранее, отвечал, что перевел ее из гамбургской газеты в почтамте, у сына почт-директора Ключарева. Когда Мешков закончил списывать бумагу, Верещагин взял ее обратно, положил в карман и заплетаящимся языком попросил своего приятеля нико-му о ней не говорить.

Вскоре дождь прекратился, стало быстро смеркаться. Верещагин, чувствуя, что уже сильно пьян, решил ни в какие лавки не идти, а отправиться прямо домой. Распрощавшись, он вышел на улицу и нетвердой походкой направился мимо Китай-города, через Солянку, через Яузский мост на Николяемскую, где напротив церкви Симеона Столпника находился каменный с колоннами дом его отца.

Вскоре после ухода Верещагина к Мешкову зашел С. В. Смирнов, хозяин квартиры, которую снимал Петр Алексеевич. Последний здесь же, несмотря на данное Верещагину слово, выболтал о только что списанной бумаге и показал ее. Теперь уже Смирнов стал просить своего квартиранта дать ему «наполеонову эту речь» списать, чему Мешков отказать не посмел. Смирнов унес бумагу с собой и возвратил ее только на другой день поутру. Так по Москве начала ходить эта «вражеская бумага».

Обратимся теперь к главному герою нашего рассказа. Михаил Николаевич Верещагин родился в 1789 г., и ко времени разыгравшейся драмы ему шел 23-й год. Отец его, Николай Гаврилович Верещагин, происходил из экономических крестьян деревни Верещагино Пошехонского округа Ярославской губернии. Он уже давно обосновался в Москве и занимался содержанием торговавших пивом (или, как правильнее для того времени – «полупивом») гербергов, своего рода гостиниц, превратившихся вскоре в рестораны.

Трудно сказать определенно, заканчивал ли Михаил Верещагин какое-либо учебное заведение. П. В. Шереметевский в свое время высказал предположение, что Михаил мог обучаться в коммерческом пансионе, преоб-

разованном в 1810 г. в Коммерческую практическую академию⁷. Но это предположение ни на чем не основано. Не исключено, что Михаил Верещагин был обязан своему знанию французского, немецкого и даже английского языков домашнему образованию. В 1805 г., когда Михаилу было всего 16 лет, в Москве вышел его перевод с французского романа широко известного тогда немецкого романиста XVIII в. Христиана Генриха Шписа, чье творчество оказало сильнейшее влияние на молодого Василия Жуковского. Через два года Михаил Верещагин перевел другой роман, на этот раз уже с немецкого языка – «Мария, или Любовь и честность» Августа Генриха Юлия Лафонтена. Как и Шписа, Лафонтена сегодня нередко относят к т.н. предромантическому направлению.

Вероятно, благодаря мартинисту^{**} А. Я. Клейну⁸ Михаил вскоре проникся интересом к политическим вопросам. Он начал с жадностью читать зарубежные книги на философские и политические темы. Но особый интерес вызывали у него новости, публиковавшиеся в иностранных газетах. Эти газеты он мог найти, бывая в кофейнях, которые являлись своего рода политическими и литературными салонами для неаристократической публики, либо на почтамте, в газетной экспедиции.

Вскоре Верещагин открыл для себя еще одну, и наиболее ценную, возможность получения свежей информации – через сына почт-директора, своего тезки Михаила Ключарева, который был старше его на три года и учился в Московском университете. Квартира почт-директора помещалась тогда в прикрытом «громadным двухглавым орлом с распростертыми крыльями» бельведере, что возвышался над вторым этажом главного здания почтамта. Сюда попадали даже те иностранные газеты и журналы, которые не были пропущены цензурой. Согласно принятой тогда процедуре, цензоры, «прочитав журналы и отметя запрещенное в них карандашом, по одному номеру приносили в кабинет почт-директора для просмотра; сын Ключарева брал их», а затем делился ими с Верещагиным⁹. Так к Верещагину по-видимому и попал номер «*Journal de département des bouches de l'Elbe oder Staats-und-Gelehrte-Zeitung des Hamburger unpartheischen Correspondenten*», содержавший письмо Наполеона к прусскому королю и его речь к монархам Рейнского союза. Стоит ли удивляться тому, что Верещагин не смог удержаться от того, чтобы не прочитать эти «зловредные» речи, когда новости о начавшейся войне с Наполеоном почти не доходили в Москву?

^{**} Мартинисты – последователи Л.-К. де Сен-Мартена (1743–1803), ученика М. Паскалиса, основателя одного из направлений масонства, которое особенно настоятельно проповедовало деятельную любовь к ближнему ради постижения природы и создавшего ее Творца.

Где именно он на скорую руку перевел эти письмо и речь Наполеона — у себя ли дома, как он впоследствии утверждал, или, что более вероятно, в здании почтамта, — сказать невозможно. Но очевидно, что это произошло 17 июня 1812 г., ибо в тот же день, видимо, ближе к вечеру, Михаил, не в силах сдержаться, решил прочитать эту записку своей мачехе Анне Алексеевне, сказав при этом: «Вот что пишет злодей француз!»¹⁰, — и добавив, что он сам это вычитал из немецких газет¹⁰. Когда в тот же день, к вечеру, Николай Гаврилович Верещагин возвратился домой, Анна Алексеевна сразу же сообщила ему о том, что сын Михайло перед тем читал ей. Но, как было потом сказано в следственном деле, «по недоумению своему» толком ничего пересказать не могла.

Тогда муж ее, не сдерживая любопытства на предмет сей бумаги, спросил, дома ли Михайло, но узнав, что сын уехал со двора, оставил это дело до утра. Поутру же Николай Гаврилович отправил в комнату сына девочку Дарью за той самой бумагой, которую Михаил и отправил ему. Прочитав бумагу, Верещагин-старший бросил ее на комод. За обедом, когда отец и сын наконец встретились, Николай Гаврилович не преминул разразиться словами негодования в адрес французов и спросил, откуда Михаил взял эту «речь». На это Михаил прямо сказал, что получил ее от сына почт-директора Ключарева¹¹.

Таков в общих чертах портрет главного героя нашего рассказа, жертвы, которая вскоре будет принесена на алтарь Отечества. Обратимся теперь к тому, кто принесет сию жертву, — к графу Федору Васильевичу Ростопчину.

Об этом человеке за 200 лет написано столь много, что мы не рискуем даже пытаться изложить здесь его биографию¹². Отметим только, что к 1812 г. граф Ростопчин определенно зарекомендовал себя как последовательный и яркий представитель «русской партии», активно включился в борьбу против всех «либералов», «мартинистов» и «государственных преступников», не пытаясь даже разделять их.

Благодаря участию великой княгини Екатерины Павловны в мае 1812 г. император Александр I назначил Ростопчина главнокомандующим в Москве, дав одновременно чин генерала-от-инфантерии. Император пошел на этот шаг во многом вынужденно, перешагнув через свою антипатию к Ростопчину, понимая необходимость в условиях приближавшейся войны с Наполеоном опереться на «русскую партию». Так на посту почти ничем не ограниченного господина древней столицы и ее жителей оказался человек, личность которого до сих пор вызывает восхищение, сопряженное с ужасом и брезгливостью.

Политическое кредо нового московского градоначальника было хорошо представлено несколькими годами раньше в его нашумевшем сочине-

нии «Ох, французы!»: обязанностью населения является почитание начальства, а задачей начальства – сохранение незыблемости дворянских привилегий и защита их от галломанов и буйной черни. Но в голове Ростопчина (галлофоба, воспитанного на французских книжках и французской культуре!) эта схема усложнялась тем фактом, что, по его мнению, носителем идеологии политического рабства должен был быть независимый гражданин, действующий не по принуждению, а «по зову сердца»¹³. Будучи натурой яркой, талантливой и дерзкой, Ростопчин с первых шагов своей деятельности в Москве начал разыгрывать роль «народного барина», сочиня знаменитые афишки, написанные балаганным языком, то распаляя простонародье ура-патриотическими призывами, то остужая энтузиазм, давая тем самым понять, кто же истинный хозяин в первопрестольной.

В этой обстановке основными объектами, с помощью которых Ростопчин достаточно успешно манипулировал чувствами простонародья, стали московские иностранцы и масоны. На протяжении лета 1812 г. полиция без устали выявляла и арестовывала тех иностранцев (в том числе и российских подданных), которые по неосмотрительности позволяли себе неосторожные высказывания по поводу войны с Наполеоном или были попросту оклеветаны русскими «патриотами» из корысти. Но еще большим преследованиям, по мнению Ростопчина, должны были подвергнуться те русские, которые принадлежали к «секте мартинистов» и, по его логике, все как один были предателями. Главнокомандующий был свято убежден в том, что русский человек, если он не сумасшедший и если он не пьян, по определению не может проповедовать то, что связано с понятием «свобода».

Вот в такой-то обстановке, во многом предопределенной не только начавшейся войной, но и личностью градоначальника, и появились в Москве «зловредные листки» со словами Наполеона. Полиция вмиг напала на след Верещагина. Уже через несколько дней Михаил Верещагин был взят полицией.

26 июня полицмейстер Егор Александрович Дурасов, ранее дослужившийся до полковника гвардии, а впоследствии ставший сенатором¹⁴, провел первый допрос Верещагина. Верещагин письменно показал, что он, шедши с Лубянки на Кузнецкий мост, против французских лавок «поднял некий печатный лист, или газету, на немецком языке, с которого и перевел на русский означенные обращения Наполеона»¹⁵. Вполне понятно, что такое объяснение факта происхождения оригинального текста нисколько не могло удовлетворить полицию, и на следующий день тот же Дурасов допросил отца Михаила – Николая Гавриловича. Их показания заметно расходились. Николай Гаврилович показал, что Михаил в разговоре с ним

указал на сына Ключарева, от которого получил означенную гамбургскую газету. Теперь Михаил вынужден был изменить показания, и вначале подтвердил слова отца, но затем, вероятно не желая впутывать в это дело сына Ключарева, стал утверждать, будто получил газету от неизвестного чиновника газетной комнаты почтамта, где будто бы ее и перевел.

Ростопчин очень внимательно следил за ходом дознания, в особенности после того, как стало ясно, что местом появления «злонамеренной бумаги» является здание почтамта, которым руководил и даже проживал там маринист Ключарев, давно ненавидимый Федором Васильевичем и подозреваемый им в антиправительственной деятельности. Судя по бумаге, представленной Ростопчиным в Сенат одновременно с направлением туда «дела Верещагина и Мешкова», 28 июня Ростопчин сам допрашивал М. Верещагина в своем доме на Лубянке. Желая как можно скорее вывести обитателей почтамта «на чистую воду», он приказал Дурасову немедленно отправиться вместе с Верещагиным в почтамт, дабы тот указал на чиновника, предоставившего ему гамбургский листок¹⁶.

Дурасов немедленно исполнил приказание Ростопчина и через несколько минут вместе с подследственным был у здания почтамта¹⁷. Однако неожиданно для Дурасова он был остановлен возле газетной комнаты, где находилась иностранная пресса, «каким-то Дружининым», чиновником почтамта, и на все требования неизменно получал только один ответ: в почтамте ничего «без особого повеления господина почт-директора не исполняется». Тогда Дурасов потребовал увидеть самого почт-директора, что Дружининым, который оказался экзекутором почтамта и был в чине надворного советника, было исполнено.

Ф. П. Ключарев, почт-директор, увидев Дурасова, подтвердил слова своего чиновника и одобрил его действия, однако, узнав о причине прибытия полицмейстера, неожиданно и очень настойчиво объявил о желании немедленно переговорить с Верещагиным с глазу на глаз. Растерянный и присмиревший Дурасов не воспрепятствовал этому, и в течение некоторого времени («довольно долго») вынужден был ожидать, когда Ключарев закончит беседовать с подследственным в другой комнате! Наконец, Ключарев пригласил Дурасова войти к ним в комнату и заявил, что молодой человек достоин сожаления и что его дарования могут быть употреблены с пользой. Сам же «молодой человек», то есть М. Верещагин, здесь же признался, что оклеветал сына почт-директора и «других», и что автором наполеоновской прокламации является он сам.

Стоит ли говорить, как был взбешен Ростопчин, когда незадачливый полицмейстер явился к нему «не солоно хлебавши»?! Очевидно, что по здравому размышлению Федор Васильевич понял, что вся история, произошедшая 28-го числа в почтамте, стала еще одним подтверждением при-

частности Ключарева и других мартинистов к распространению антиправительственных слухов. Поэтому Ростопчин отстранил Дурасова от ведения следствия и перепоручил это обер-полицмейстеру Ивашкину.

Ивашкин (29-го или 30-го июня) провел в доме Верещагиных обыск, однако никаких подозрительных бумаг обнаружить не смог. В дальнейшем при допросе мачехи Михаила Верещагина Анны Алексеевны вскрылось, что во время обыска ее пасынок (Ивашкин взял подследственного с собой), проходя мимо, сказал на ухо: «Не бойтесь: за меня Федор Петрович вступится»¹⁸. Это обстоятельство еще более усложнило положение Ключарева и, наоборот, вдохновило Ростопчина.

Визит Дурасова вместе с подследственным Верещагиным 28-го июня на московский почтамт был для Ф. П. Ключарева, давнишнего масона и друга Н. И. Новикова, большой неожиданностью. Он испугался, прежде всего, за своего сына. Поэтому Федор Петрович сразу же попытался убедить Верещагина отвести подозрения от своего сына Михаила и фактически взять вину на себя. За это Федор Петрович пообещал Верещагину защиту, как со своей стороны, так, по-видимому, и со стороны своих друзей-масонов. Одновременно Ключарев тщетно попытался оправдать свои действия перед Ростопчиным.

Но эти оправдания нисколько не смогли охладить пыл Ростопчина в поисках скрытых и коварных врагов Отечества. 30 июня московский главнокомандующий отправил первое донесение императору о «деле Верещагина»: «Вы увидите, государь, из моего донесения министру полиции, какого изверга откопал я здесь». После кратких сведений о Михаиле Верещагине, которого воспитали «масоны и мартинисты», Ростопчин обратился к личности почт-директора: «Образ действий Ключарева во время розысков на почте, его беседа с преступником с глазу на глаз, данное ему обещание покровительствовать и пр., — все это должно убедить вас, государь, что мартинисты суть скрытые враги ваши и что вам препятствовали обратить на них внимание. Дай Бог, чтобы здесь не произошло движения в народе; но я наперед говорю, что лицемеры-мартинисты обличаются и заявят себя злодеями»¹⁹.

Между тем, Верещагин после встречи с Ключаревым решительно изменил показания и стал упорно утверждать, что сочинителем «гнусной прокламации» является он сам, и что никакого знакомства с сыном почт-директора у него не было. Нисколько не веря словам Верещагина²⁰, Ростопчин, тем не менее, решил воспользоваться новым оборотом дела. Полагая, что благодаря масонской сети, бумаги, переведенные Верещагиным, уже получили широкое хождение, он решился на неожиданный шаг — 3 июля в «Московских ведомостях» публикует текст письма Наполеона к прусскому королю и его речь к князьям Рейнского союза, сопроводив их

информацией о «сочинителе». «Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращенный трактирною беседою»²¹. На самом деле Ростопчин продолжал находиться в убеждении, что главным источником «злонамеренной» бумаги были, конечно же, московские масоны.

6 июля в Комитете министров было заслушано отношение Ростопчина «о сочинителе появившейся в Москве прокламации Наполеоновой и письма его к Королю прусскому, московском купеческом сыне Верещагине». Было предложено Ростопчину «суд над Верещагиным» кончить «во всех местах без очереди и, не приводя окончательного решения в исполнение, представили б оное к министру юстиции для доклада Его Императорскому Величеству. Верещагина же содержать между под наикрепчайшим присмотром...»²²

Однако еще до того, как суд первой инстанции – Московский магистрат и надворный суд – 15 июля вынес свое решение, 11 июля в Москву прибыл император Александр I. А. Н. Попов предполагал²³ (и мы с ним согласны), что в течение недельного пребывания государя в Москве Ростопчин, который неоднократно имел беседы с императором наедине, пытался заводить разговор о «деле Верещагина»²⁴, однако Александр, по видимому, отнесся к этому без энтузиазма и тему не поддержал.

15 июля общее присутствие московского магистрата совместно с надворным судом пришло к мнению по делу Верещагина и Мешкова: «Купеческого сына Михайлу Верещагина лишить доброго имени и, заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу в Нерчинск; а дерзкое сочинение его истребить. Секретаря Мешкова, лиша чинов и личного дворянского достоинства, написать в военную службу»²⁵.

20 июля (подписано было 25 июля) это мнение было подтверждено определением 1-го департамента московской палаты уголовного суда. Несмотря на то, что дела подобного рода в Сенате, как правило, уже не рассматривались, Ростопчин, желая не только ужесточить приговор, но и официально привлечь к делу Ключарева и московских мартинистов, перенес дело в Сенат. Таким образом, Верещагин, оговорив себя и отведя обвинения от сына Ключарева и от самого почт-директора, усугубил свою собственную вину.

1 августа дело поступило в Правительствующий Сенат вместе со специальным мнением Ростопчина, в котором тот просил Сенат рассмотреть дело немедленно и вне очереди, а также указал на чрезвычайно подозрительное поведение почт-директора Ключарева. Дело в Сенате начало слушаться 19 августа. Сенаторы в целом были согласны с мнением московского магистрата и надворного суда и с определением московской палаты уголовного суда, но вынесение окончательного приговора неминуемо дол-

жно было затянуться. Выяснение обстоятельств, связанным с поведением Ключарева, также неизбежно откладывалось.

Поэтому Ростопчин, движимый ненавистью к «мартинистам» и под предлогом борьбы с вражеским заговором, 10 августа приказал арестовать Ф. П. Ключарева, опечатать его бумаги и выслать его самого в Воронеж. Еще ранее по приказу Ростопчина был арестован без должных на то оснований помощник Ключарева экзекутор почтамта Дружинин, заключен под стражу и отправлен для производства следствия в Петербург.

Между тем, Ростопчин продолжал с большим пылом выискивать в Москве изменников, запугивать иностранцев и кормить русское простонародье разными слухами, всячески возбуждая в нем праведный патриотический дух. Среди тех иностранцев, которых хватали и наказывали чуть ли не каждый день, 30 июля оказался Франсуа (по другим данным – Петр) Мутон, учитель фехтования. В день расправы над Верещагиным 2 сентября 1812 г. Мутон чудом не стал еще одной жертвой «народного гнева».

Всю вторую половину августа Ростопчин без устали изобретал все новые и новые способы поддержания в московском простонародье «патриотического возбуждения». Помимо знаменитых «афишек», писанных псевдонародным языком заигравшегося в русскость богатого барина, московский главнокомандующий усилил демонстративные поиски затаившихся врагов Отечества. 18 августа Ростопчин докладывал Балашову: «Для удовольствия народа (Sic! – В. З.), отобрав 43 человек из самых замеченных по поведению и образу мыслей французов, наняв до Нижнего Новгорода барку, завтра ночью забрав, отправлю водою, а оттуда в Саратов и далее»²⁶.

Среди иностранцев, которые не были отправлены на барке, а продолжали содержаться в Москве, ожидая наказания, был уже упоминавшийся нами Мутон. Он был определен к наказанию кнутом и ссылке в Сибирь. Доносчику на Мутона Ростопчин демонстративно выдал 1000 рублей (!) в награду, тем самым поощряя доноительство на «подозрительных» иностранцев. Многие из московского простонародья этим воспользовались. Более того, стали составляться заговоры с целью массового избития оставшихся иностранцев и разграбления их имущества. Об одном из таких заговоров поведal в «Записках» сам Ростопчин. Он же рассказал, как некий Наумов, занимавшийся хождением по делам, по-видимому, вдохновленный намерениями Ростопчина предать город огню, «подговаривал дворовых людей и указывал им, куда следует собираться, когда настанет время грабить. Он записал уже более 600 (! – В. З.) человек»²⁷. «Патриотический порыв», организованный Ростопчиным, с неизбежностью должен был соединиться с разнузданной уголовщиной.

Когда отгремели орудия Бородинской битвы и русская армия прибли-

зилась к Москве, неотступно преследуемая Наполеоном, 30 августа Ростопчин обратился к москвичам с воззванием, призывая их собраться «на Три горы»^{***}, дабы вместе с армией они встретили неприятеля и разбили его. Но сам Ростопчин заведомо знал, что «у нас на Трех горах ничего не будет», как он заявил С. Н. Глинке, передавая ему это воззвание. Тысячи москвичей собрались 31 августа в указанном месте, но, простояв в ожидании целый день, так и не дождались губернатора и в тягостных раздумьях к вечеру разошлись.

К 8 часам вечера 1 сентября Ростопчин получил уведомление от главнокомандующего объединенными русскими армиями М. И. Кутузова о том, что войска, не принимая сражения, спешно оставляют Москву. Теперь московскому главнокомандующему оставалось совсем немного времени, чтобы привести в действие давно замысленный им план уничтожения города. Он отдал распоряжение Ивашкину вывезти из Москвы пожарные насосы²⁸, провел тайное совещание с чинами полиции, где они получили инструкции на предмет организации поджогов в городе по вступлении в него французов; наконец, рано утром 2 сентября отправил своего адъютанта В. А. Обрескова в «яму», где тот приказал выпустить примерно полторы сотни арестантов, предварительно потребовав от них клятвы перед иконами в исполнении «патриотического долга»²⁹. Однако двое арестантов, содержащихся в «яме», в число выпущенных на свободу не попали. Ими были Верещагин и Мутон. Их Обресков доставил в дом Ростопчина на Лубянке.

Около 10 утра³⁰ 2 сентября московский главнокомандующий был уже готов отбыть из столицы, когда узнал, что весь двор перед дворцом заполнен толпою московского простонародья. Большой частью это были те самые люди, которые по своей детской доверчивости к «начальству» весь день накануне простояли на «Трех горах», тщетно ожидая словоохотливого графа, а теперь, узнав об оставлении Москвы, в полной растерянности и в смятении столпились у дома Ростопчина, запрудив обширный двор и прилегавшую к нему улицу. Многие были с оружием и в сильном подпитии.

Ростопчин выбежал на балкон и прокричал народу: «Подождите, братцы: мне надобно еще управиться с изменником!» После этого Ростопчин зашел с балкона в дом и спустился вниз на крыльцо, куда под конвоем вывели Верещагина и Мутона. Толпа немного отхлынула назад и образовала перед крыльцом своего рода полукруг. Ростопчин, переживший бессонную ночь, раздраженный на М. И. Кутузова, который обманул его, не

^{***} Три горы – холмистая местность к западу от Садового кольца, на левом берегу р. Москвы (район нынешней ул. Трехгорный вал).

дав как следует подготовиться к поджогу Москвы, и находящийся под впечатлением грозности замысла, который он все же решил осуществить – сжечь и разграбить Москву – теперь решил принести человеческую жертву! Молодой купчик, который в своем благородстве брал вину на себя и отвел обвинения от врага Отечества – Ключарева – должен был умереть адской смертью, а кровь его – еще более возбудить патриотизм московской толпы!

Ростопчин схватил Верещагина за руку и закричал народу: «Вот изменник! От него погибает Москва!» Несчастный Верещагин, побледнев как полотно, только и успел тихо сказать: «Грех вашему сиятельству будет!», как Ростопчин махнул рукой и закричал конвойному вахмистру П. Бурдаеву: «Руби!»

Бурдаев стоял как вкопанный и «не подымал рук». Тогда Ростопчин в гнев закричал на ротмистра А. Г. Гаврилова, в чьем эскадроне был Бурдаев: «Вы мне отвечаете своею собственною головою! Рубить!» Гаврилов скомандовал: «Сабли вон!» Бурдаев машинально выхватил палаш и вскинул вверх. То же сделал и Гаврилов. Гаврилов и нанес первый удар Верещагину по лицу, вслед за ним ударил и Бурдаев. Верещагин упал, обливаясь кровью.

Ростопчин сразу обратился к Мутону, который стоял здесь же, в поношенном «сюртучишке, испачканном белой краской, простоволосый и с молитвенником в руках» (Ростопчин). Он ожидал участи, только что постигшей Верещагина, и читал молитву. Ростопчин в «Записках» так воспроизвел свои собственные слова, сказанные Мутону: «Дарую вам жизнь, ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему Отечеству».

По знаку главнокомандующего толпа расступилась, и Мутон бросился бежать. Француза никто и не попытался задержать. Возбужденные взоры толпы были направлены на окровавленное тело раненого Верещагина. На несколько мгновений воцарилась мертвая тишина. Как только Ростопчин и его свита быстрым шагом снова вошли в дом, толпа бросилась к умирающему юноше. Его ноги были обхвачены петлей; другой конец веревки привязали к лошади и поволокли тело прочь со двора, таскать по улицам. Окровавленная голова еще живого Верещагина билась о камни мостовой. Пьяная толпа ревела...

Ростопчин, все еще слыша крики, доносившиеся со двора, не оглядываясь, прошел комнаты дворца, быстро вышел на задний двор, сел в дрожки, закричал кучеру «Пошел!», и вместе со свитой мгновенно покинул Лубянку.

Возбужденная кровью «предателя» народная толпа хлынула со двора ростопчинского дома на Кузнецкий мост, где находились лавки живших в

Москве иностранцев. Под крики и улюлюканье толпа протащила тело по Кузнецкому мосту, а затем поворотила на Петровку, свернула в Столешников переулочек и выплеснулась на Тверскую прямо напротив официальной резиденции генерал-губернатора³¹. Там было пусто – вся администрация из Москвы уже отбыла. Растерянный и пьяный московский люд потащил тело вниз по Тверской, к базару возле кремлевских стен...

Между тем к Москве уже подходил Наполеон. В полдень он любовался куполами русской столицы с Поклонной горы, а затем приказал авангарду неаполитанского короля, маршала И. Мюрата, войти в город. Мюрат, без выстрелов насадея на русский арьергард, медленно начал продвигаться к Кремлю.

Здесь-то и произошла первая стычка с защитниками Москвы – ополченцами и полупьяными мужиками – которые стреляли по французам, бросались на них с пиками и даже рвали неприятелей зубами. Без сомнения, многие из этих безымянных защитников Кремля были теми самыми москвичами, которые в порыве патриотизма, досады и гнева только что таскали по улицам тело Верещагина. Сейчас же, около четырех часов дня, сопротивление этой полупьяной толпы, брошенной своими господами, было легко сломлено. Несколько человек было убито, другие разбежались, третьи были разоружены и взяты под караул. Москва была пленена...

Но уже вечером в городе начались пожары. Первые взрывы и поджоги были, как известно, произведены агентами Ростопчина – чинами московской полиции. Но вот кто продолжал осуществлять эти поджоги в дальнейшем, начиная с 3-го сентября, – это до сих пор вызывает большие споры.

Уже с 1812 г. за Ростопчиным в Европе прочно утвердилась (в том числе благодаря бюллетеням и письмам Наполеона) слава «русского Герострата», «римлянина», который предал священную столицу огню и поруганию. Ростопчин реагировал на эти разговоры по-разному, то «скромно» принимая славу «победителя Наполеона», то категорически от нее отказываясь. Наконец, в 1823 г., еще живя в Париже, но готовясь к возвращению на родину, Ростопчин публикует сочинение «Правда о московском пожаре», в котором громогласно снимает с себя славу организатора московского пожара и возлагая ее на весь «русский народ»³².

Это самоотречение Ростопчина вызвало волну споров и осуждений автора, чьим словам ни в России, ни в Европе никто не собирался верить. Лукавил ли Ростопчин? В сущности, нет. Только немногие в те годы прозорливо увидели суть произошедших в 1812 г. в Москве событий. Старинный приятель Ростопчина С. Р. Воронцов, наблюдавший Россию из английского далека, уже в марте 1813 г. написал Федору Васильевичу так: «Вы были той благодетельной искрой, которая возбудила к проявлению

чудный нрав наших дорогих соотечественников, тех, которых называют чистокровными русскими, говорящими одним языком, исповедующими одну веру»³³. Сам Ростопчин сказал Варнгагену фон Энзе таким образом: «Я поджег дух народа, а этим страшным огнем легко зажечь множество факелов»³⁴.

Ростопчин более ясно, нежели Воронцов, осознавал природу этого «духа народа». Как никто другой из числа русских аристократов он не навидел русских простолюдинов, но его неизменно, как писал П. А. Вяземский, «влекло к черни: он чуял, что мог бы над нею господствовать». Ловко манипулируя толпой и по временам разжигая в ней самые страшные инстинкты, не останавливаясь ради этого перед беззаконием и преступлением, Ростопчин направлял народную энергию по тому пути, на котором, по его мнению, она не только уничтожит неприятеля, но и сможет сохранить патриархально-крепостнический уклад всей российской жизни.

Несмотря на смерть Михаила Верещагина, дело в отношении его, как и в отношении Мешкова, еще долго не будет закрыто. В самый канун вступления неприятеля в Москву московский Сенат должен будет удалиться в Казань. Производство дела остановится. Только благодаря вмешательству министра юстиции И. И. Дмитриева в начале 1813 г. оно будет возобновлено. 24 февраля 1813 г. 6-й департамент Сената, все еще находящийся в Казани, отправит Дмитриеву для доклада императору заключение. В отношении Мешкова там будет значиться: «Лиша чинов и соединенного с оными дворянского достоинства, написать в солдаты, а буде окажется не способным к воинской службе, то сослать в Сибирь на поселение»³⁵. В отношении же Михаила Верещагина там говорилось, что он показал себя «изменником Отечеству своему» и подлежит смертной казни, но по смягчающим обстоятельствам «лиша его Михайлу Верещагина доброго имени, согласно мнению главнокомандующего в Москве графа Ростопчина, наказать его Верещагина кнутом двадцатью ударами; потом, заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу в Нерчинск»³⁶.

30 августа 1814 г. Ростопчин будет снят с поста московского главнокомандующего и надолго покинет Россию. В 1816 г., когда Александр I посетит в Москву, он встретится с Николаем Гавриловичем Верещагиным, отцом Михаила, будет беседовать с ним, а после подарит ему бриллиантовый перстень и 20 тыс. рублей.

Так завершится эта трагическая история эпохи войны 1812 года, главными персонажами которой были юный, наивный и благородный «западник» Михаил Верещагин и изощренный в манипулировании толпой, презиравший свой собственный народ, ловкий «патриот» Федор Ростопчин. Однако за этими двумя фигурами на всем протяжении трагической исто-

рии неизменно угадывались очертания третьего, и главного, участника великой драмы – Власти. Именно Власть, видимой, а чаще – чуть заметной дланью, умело дирижировала происходившими событиями, то взращивая в мирные годы зеленую поросль европейского благородства, то отдавая ее на истребление патриотам-крепостникам в годину военных испытаний. Именно Александр I, не связывая себя какими-либо действиями, предоставил Ростопчину своего рода «карт бланш» в отношении будущего Москвы, дав ему право распорядиться судьбой столицы и ее обитателей так, как «того потребуют обстоятельства». Но тот же Александр, после окончания всех страшных событий, милостиво рукой «одарит» испивших чашу несчастья «западников» и демонстративно, но отнюдь не сурово, накажет зарвавшихся «патриотов».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Surugue A.* Mil huit cent douze. Les Français à Moscou / Publ. par le R. P. Libercier. M., [1909]. P. 22; Histoire de la destruction de Moscou. Histoire de la destruction de Moscou, en 1812 / Par A. F. de B..... ch. P., 1822. P. 64–65.

² *Дубровин Н. Ф.* Москва и граф Ростопчин в 1812 году: Материалы для истории 1812 года // Военный сборник. 1863. № 7. С. 99–155; № 8. С. 419–471; *Шереметевский П. В.* Дело о Верещагине и Мешкове // ЧОИДР. Кн. 4. 1866. С. 231–247; *Попов А. Н.* Москва в 1812 году // РА. 1875. № 7. С. 282–289; *Он же.* Дело о Верещагине // Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876. С. 433–469; и др.

³ *Мельгунов С. П.* Ростопчин – московский главнокомандующий // Отечественная война и русское общество. М., 1912. Т. 4. С. 34–82; *Кизеветтер А. А.* Исторические отклики. М., 1915 (далее цит. по изд-ию: *Кизеветтер А. А.* Исторические силуэты. Ростов-на-Дону, 1997).

⁴ *Любченко О. Н.* Граф Ростопчин. М., 2000; *Горностаев М. В.* Генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин: страницы истории 1812 года. М., 2003.

⁵ Тексты см.: *Попов А. Н.* Москва в 1812 году. № 7. С. 287; *Шереметевский П. В.* Дело о Верещагине и Мешкове... С. 235; ГАРФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 4–40б.

⁶ Описано по: ОПИ ГИМ. Ф. 155. Ед. хр. 109. Л. 50–50 об.; *Шереметевский П. В.* Дело о Верещагине и Мешкове... С. 236–237.

⁷ *Шереметевский П. В.* Дело о Верещагине и Мешкове... С. 233.

⁸ Ростопчин писал 30 июня 1812 г. о том, что М. Верещагин был «воспитан в доме отца своего силезцем Клейном, великим масоном и мартинистом» (Цит. по: *Попов А. Н.* Москва в 1812 году. № 7. С. 288–289). Попов отмечал, что в оригинале имя Клейна было написано неразборчиво. Мы обнаружили упоминание об Алексее Яковлевиче Клейне в одном из масонских списков 1789 г. в качестве секретаря Провинциальной ложи (*Лонгинов М. Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1876 г. С. 291).

⁹ Адам Фомич Брокер // РА. 1868. Ст. 1430.

¹⁰ *Шереметевский П. В.* Дело о Верещагине и Мешкове... С. 236, 240.

¹¹ Там же. С. 236.

¹² По нашему мнению, наиболее полный обзор источников и литературы о жизни и деятельности Ростопчина приведен у А. Е. Ельницкого (Русский биографический словарь. Романова – Рясковский. Пг., 1918. Ст. 298–305).

¹³ Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 234–235.

¹⁴ «Полковник гвардии, болезненный, ограниченный, но очень честный человек», – так написал о нем Ростопчин.

¹⁵ Шереметевский П. В. Дело о Верещагине и Мешкове... С. 238; Попов А. Н. Дело М. Верещагина в Сенате в 1812–1816 гг. // ЧОИДР. 1888. Кн. 1. С. 3.

¹⁶ Шереметевский П. В. Дело о Верещагине и Мешкове... С. 244.

¹⁷ Почтамт располагался недалеко от дома Ростопчина, на Мясницкой.

¹⁸ Шереметевский П. В. Дело о Верещагине и Мешкове... С. 244.

¹⁹ Цит. по: Кизеветтер А. А. Исторические отклики... С. 290–291.

²⁰ Верный клеврет Ростопчина А. Ф. Брокер вспоминал следующий эпизод: «Раз, запирательство его (Верещагина. – В. З.) до того озлобило графа, что он схватил ножницы, которыми режут бумагу и хотел заколоть ими Верещагина» (Адам Фомич Брокер. Его записки // РА. 1868. Ст. 1431). По-видимому, эта сцена произошла в самых последних числах июня – начале июля, когда Верещагин взял всю вину на себя.

²¹ Цит. по: Попов А. Н. Москва в 1812 году. № 7. С. 287. Попов ссылается на «Московские ведомости» за № 53 от 3 июля 1812 г.

«Бумага, им (то есть Верещагиным. – В. З.) написанная, развезена, верно, во все края России, и для уничтожения ее содержания я напечатал в “Московских ведомостях”, кто ее сочинитель и что он судится по всей строгости законов». «Теперь, – добавлял Ростопчин убежденно, – о бумаге сей никто уже более и не говорит» (Ростопчин – Н. И. Салтыкову. М., 11 июля 1812 г. // Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). М., 2006. С. 50).

²² Н. И. Салтыков – Ростопчину. СПб., 6 июля 1812 г. // Дубровин Н. Ф. Отечественная война... С. 46.

²³ Попов А. Н. Москва в 1812 году. № 8. С. 370.

²⁴ В письме Ростопчина Салтыкову от 11 июля 1812 г. есть примечательная фраза: «... если государь не соизволит решить сам его (т.е. Верещагина. – В. З.) судьбу» (Дубровин Н. Ф. Отечественная война... С. 50).

²⁵ Попов А. Н. Дело М. Верещагина в Сенате. С. 9; Шереметевский П. В. Дело о Верещагине и Мешкове... С. 242.

²⁶ Ростопчин – Балашову, 18 августа 1812 г. // Дубровин Н. Ф. Отечественная война... С. 101.

²⁷ Цит. по: Наполеон в России глазами русских. М., 2004. С. 226.

²⁸ Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. М., 1897. Ч. 1. С. 96.

²⁹ Narichkine M-m (née comtesse Rostopchine). Le comte Rostopchine et son temps. St.Petersbourg, 1912. P. 168. См.: Земцов В. Н. Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 г. // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. VIII (Труды Государственного исторического музея. Вып. 179). М., 2008. С. 105–125.

³⁰ Сцена убийства Верещагина описана по: Записка о деле Верещагина. Копия конца XIX в. // ОПИ ГИМ. Ф. 155. Ед. хр. 109. Л. 66–73; Жуков И. Ф. Разбор известий и дополнительное сведение о казни купеческого сына Верещагина, 2-го сентября 1812 года, в Москве // ЧОИДР. 1866. Кн. 4. С. 247–258 (Жуков рассматривает свидетельства немецкого писателя К. А. Варнгагена фон Энзе; публикацию писателя и переводчика М. А. Дмитриева, в которой последний передает рассказ своего родственника известного мемуариста Д. Н. Свербеева о беседе с адъютантом Ростопчина В. А. Обресковым; свидетельство безвестного извозчика, очевидца трагедии, который вез М. А. Дмитриева осенью 1813 г.; свидетельства ординарцев Ростопчина П. Бурдаева (в передаче Г. Кононова) и А. Г. Гаврилова, с которым Жуков был знаком лично); письма и «Дневник» священника церкви Св. Людовика в Москве А. Сюрюга (*Surrugues. Létres sur l'incendie de Moscou, écrites de cette ville, au R. P. Bouvet, de la compagnie de Jésus, par l'abbé Surrugues, témoin oculaire, et curé de l'Église de Saint-Louis, a Moscou. P., 1823; Surugue A. Mil huit cent douze*; «Записки» Ф. В. Ростопчина. См. также интересный комментарий А. Ф. Кони к сцене убийства Верещагина (*Кони А. Ф. Психология и свидетельские показания // Новые идеи в философии. СПб., 1913. Сборник 9. С. 93–94*).

Свидетелем убийства Верещагина стал также художник Сальвадор (Николай Иванович) Тончи (1756–1844), который проживал в доме Ростопчина. Сцена расправы произвела на художника столь сильное впечатление, что он вскоре оказался на грани помешательства и попытался (уже во Владимире) зарезаться бритвой (См.: Из записок Д. П. Рунича // Русская старина. 1901. № 3–4. С. 608–609).

³¹ Ныне здание мэрии Москвы.

³² *Rostopchine F. V. La Vérité sur l'incendie de Moscou. Paris, 1823.*

³³ Архив князя Воронцова. М., 1876. Кн. 8. С. 517–518.

³⁴ Цит. по: Русский биографический словарь... С. 286.

³⁵ На подлиннике документа Александр I собственноручно начертает: «Мешкова простить».

³⁶ *Попов А. Н.* Дело М. Верещагина в Сенате. С. 5–13; *Шереметевский П. В.* Дело о Верещагине и Мешкове... С. 245.

В. А. Ляпин

ПУТЕШЕСТВИЕ ПОДПОЛКОВНИКА ДАНКОВСКОГО В БЕЛЬГИЮ И ГЕРМАНИЮ (1858)

В конце 50-х годов XIX в. в России началась подготовка отмены крепостного права. Чиновники горного ведомства, в котором велась подготовка, как тогда говорилось, «обязательного труда» в горнозаводской промышленности, решили ознакомиться с устройством и опытом деятельности аналогичных отраслей в Западной Европе. С этой целью в апреле 1858 г. помощник горного начальника Екатеринбургских заводов подполковник Корпуса горных инженеров Лев Васильевич Данковский был отправлен в четырехмесячную командировку для «собрания сведений о положении и быте горнозаводских людей в Германии и Бельгии в связи с